

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ БУДУЩЕГО: ТЕКУЩИЙ КРИЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА ИЗ НЕГО (ПО МАТЕРИАЛАМ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ)

Автор статьи раскрывает содержание дискуссий, которые обсуждают ситуацию кризиса в современных социальных науках и предлагают разные пути обновления: «прагматическую перспективу», заявленную в «Анналах», «Места памяти», «символическую историю во второй степени».

Тема «кризиса» истории и шире – социальных наук в целом во Франции была проговорена многократно, в различных профессиональных средах и с разной степенью дробности, обеспечив как минимум два основных вывода.

Первый касается систем исторического объяснения. Наиболее ясно эту позицию выражает известная дихотомия моделей познания, придуманная Карло Гинзбургом [1]. В ней поиск обобщающих законов – «галилеевская» парадигма, характерная для точных наук, – противостоит «уликовой», имеющей дело в истории (так же, как в медицине или психологии) с искусством опознания человека и его среды по косвенным признакам, смещая акценты познания в сторону выявления достаточно стабильных отношений между переменными величинами жизни. Развитие исторической дисциплины представляло движение от первой парадигмы к признанию легитимности второй, часто принимая форму критики «объективирующих» моделей исследования и достигая, в крайних вариантах, суждений о невозможности каких бы то ни было убедительных критериев верификации. Таким образом, теряют свой «кредит доверия» количественные методы, затрудняется или вовсе выходит из употребления традиционное ранжирование истории по интерпретативным моделям (структуралистской, марксистской, функционалистской), подразделениям (политической, экономической, культурной истории), категориям и понятиям (социoproфессиональные классы, ментальности, народная культура). Взамен предлагается изучать процессы трансформации, усвоения и взаимодействия внутри социальных практик, используя понятия, учитывающие характеристики гибкости и изменчивости человеческого бытия, как термин «(кон)фигурация», позаимствованный у Норберта Элиаса.

Второе заключение относится к сфере исторической репрезентации и проблематизирует тему «рассказа» и «события». Отправной точкой для дискуссии здесь стало «Возвращение к рассказу» Лоуренса Стоуна [2], который обозначил необходимость пересмотра научных форм истории в пользу возвращения к традиционным способам повествования. Однако фундаментальную рефлексию рассказа произвел Поль Рикёр в знаковой для судеб современной историографии книге «Время и рассказ» [3], где доказал, что рассказ – имманентно присущая истории форма, а варьироваться может лишь фокус внимания автора, делающего центром повествования отдельного человека, событие, как в «традиционной» истории, структуры или конъюнктуры, как в истории «научной». При этом, утверждая повествовательную сущность истории, Рикёр настойчиво защищал проект объективности истории и присущий ей способ видения реальности от сведения дисциплины к фикции, дав французским историкам необходимые аргу-

менты в дискуссиях с адептами так называемой «риторической истории», которая низводит дисциплину к деятельности по интерпретации текстов, замкнутых на себе самих. В итоге из типа анализа, диктуемого «лингвистическим поворотом», во Франции оказались востребованы скорее рассуждения о проблеме релятивизма и достоверности в истории, чем способы анализа процедур письма и поэтики в исторических текстах. Так, Роже Шартье, Жак Ревель и Доминик Жюлия настаивают на переходе «от радикального разделения между реальным и его репрезентациями к определению репрезентаций социального мира как элементов, конституирующих само социальное, а также как инструментов и ставок социальной борьбы» [4. С. 81].

В целом, убедившись в неизбежности использования повествовательных форм, подавляющее большинство французских историков не оставили своего намерения придерживаться объективности, искать критерии истины и не отказались от использования строгих процедур историковедения и систем доказательства, созданных профессией за более чем вековую историю. Остается лишь представить, как эта тенденция выражает себя в различных тематических и методологических областях профессионального поля истории, сосредоточившись на самых амбициозных проектах последних десятилетий, но отнюдь не претендуя на всеохватность, так как любая репрезентация основывается на выборке и предпочтении.

Критика объективистских моделей во многом адресовалась традиции исторического движения «Анналов». Поиски, открытые «критическим поворотом», объявленным в журнале в конце 1980-х гг. [5], в следующем десятилетии часто велись в направлении, обозначенном как «прагматическая перспектива», заявившая своим приоритетом воссоздание профессиональной идентичности историка и внедрение «других» практик социальной истории.

По мнению Бернара Лепти [6. С. 297–298], развивавшего эту теоретическую рефлексию, в центр исторической парадигмы – после десятилетий доминирования структуралистских моделей Лабрусса, а затем ментальностей – в 1990-х гг. впервые становится актер, вовлекая в исследование целый комплекс нововведений.

В качестве объекта исследования актер требует употребления всех обобщающих категорий на уровне «общества» только в качестве категории социальной практики. Иными словами, все отношения актора с социальной средой, городом, группой и т.д. рассматриваются только в той мере, в какой этого требует ситуация действия, в которой находится сам действующий. В такой модели исследования на первый план выходят ситуации согласия или несогласия акторов, которые, достигая определенных конвенций (соглашений), и формируют состояния сиюминутной социальной стабильности.

Понятие социального актора заимствуется историками из так называемой прагматической социологии. Более того, в конце 1990-х гг. можно услышать даже о «социологическом повороте», который переживают сейчас гуманитарные науки, активно усваивая опыт Мишеля Каллона, Бруно Латура, поздних работ Люка Болтански и Лорана Тевено.

В данной теоретической модели акторы постоянно осуществляют задачу «перевода» своих языков, интересов и идентичностей на языки, в интересы и идентичности других людей. В результате такого многообразного и разнонаправленного взаимодействия происходят «смещения», которые в виде своеобразных социальных компромиссов формируют более или менее устойчивые состояния мира – «сети».

В качестве метода социологи-прагматики выбирают полный плюрализм описательных и объяснительных стратегий. Принципиальная новизна состоит в том, что в традиционной социологии проходит незамеченной масса людей или данных, которые появляются там только в качестве определенной интервьюируемой категории. Прагматическая социология отвергает всякий подход, который заранее фиксирует бы социально устойчивые черты изучаемых личностей, она не дает никаких окончательных интерпретаций. Характеристики персонажей всплывают только в объяснениях других, либо в повествованиях самих изучаемых, и они относятся сугубо к данной конкретной ситуации. Тем самым, исследователь, лишенный привычных социологических принуждений, заново открывает мир самого актора [7. С. 297–298].

Обращение к данной аналитической модели вновь вовлекает в социальную историю «короткое», событийное время. Это формат жизни самого актора, определяющий горизонт его ожиданий, глубину его памяти, восприятие исторического опыта, и только на данном микроуровне возможны исследования социального действия. Но такой подход требует и другого, по сравнению с предшествующими парадигмами, способа презентации исследования, предполагая возвращение истории к старым описательным формам изложения, вместо научного объяснения.

И, наконец, рассуждая в связи с актором о новых практиках исследования, Б. Лепти говорит о необходимости междисциплинарных альянсов. Но в отличие от предшествующих периодов, когда история последовательно переживала увлечение тематической спецификой то экономической теории, то демографии, то антропологии, теперь речь идет о «парадигматических» союзах, когда смежные науки объединены лишь общей моделью решения задачи. И здесь необходимо найти баланс, чтобы не погрузиться в самоизоляцию, но и не впасть в состояние «стихийной» междисциплинарности образца 1960-х гг. [7].

В свете такого повышенного внимания к актору важным источником вдохновения и заимствований остается итальянская микроистория (во Франции о ней много писал Жак Ревель), а также близкая ей по духу немецкая история повседневности. Микроистория показывает принципиально новую стратегию знания: в зависимости от уровня «приближения» исследователя меняется, по выражению Жака Ревеля, не просто размер видимого объекта, но его форма и замысел [8. С. 19].

Идея специфической рациональности акторов, способных использовать в своих целях и трансформировать социальный мир, проект «просопографии массы», понятие «исключительного нормального» (предложенное Эдоардо Гренди, чтобы обозначить, что отдельный яркий документ может быть более показательным, чем статистическая серия) – вот темы и понятия, удаляющие исследование как от схем социальной макроистории, так и от истории ментальностей.

Однако поскольку в проекте микроистории внимание переносится на индивидов или малые группы, темы частной жизни, персонального и повседневного, личные стратегии, материал зачастую плохо поддается генерализации и с трудом сочетается с макроисторией.

В поисках возможностей сопряжения микро- и макроподходов поднимают вопрос о «шкалах анализа» в истории. Проблема «реификации категорий» отражает сложность перехода с уровня исследований самостоятельных социальных акторов к созданию и использованию предопределяющих категорий, пригодных для анализа социальных макрогрупп. В целом, по мнению, разделяемому многими французскими историками, социальная микроистория улучшает «связи между наблюдаемыми объектами», а отказ от субстанциональности категорий приводит к необходимой в анализе контекстуализации и подвижности социальных объектов [10].

Еще один импульс в 1990-х гг. пришел в историографию в связи успешным развитием социологии науки, представленной именами Пьера Бурдьё, Жана-Клода Пассрона, Питера Бергера и Томаса Лукмана, уже упомянутых Мишеля Каллона и Бруно Латура и ряда других [6. С. 291–293]. В частности, из социологии интеллектуалов Пьера Бурдьё заимствуется способ анализа легитимной культуры, ее поддержания и воспроизводства. Особенно важным является здесь понятие «символического насилия», которое выявляет, как «доминируемые» признают власть над собой господствующих групп. Стремясь понять социальную специфику условий научного производства, метод Бурдьё способствует повышению общественной активности исследователя, призванной обнажить нормы социальной и политической жизни. Необходимо показывать обществу всевозможные принуждения и «размывать» их, разрушая те идеологии, которые представляют разнообразные проявления социального насилия результатом экономической, технической или природной неизбежности [11. С. 291–292]. Стратегии исследования, намеченные Бруно Латуром и Мишелем Каллоном, также выражают общую идею, согласно которой жизнь науки является безусловно социальной, сконструированной и обговоренной акторами, в ней нет и не может быть «чистого» беспристрастного исследования, идущего неумолимой поступью прогресса и спрятанного под видимостью вещей.

Некоторые историки оказались увлечены перспективой возврата к своим профессиональным основаниям. Отнюдь не позиционируя себя как социолог науки, еще в 1986 г. Даниэль Рош озадачился проблемами формирования профессионального сообщества и анализировал нормы его функционирования [11. С. 3–20]. Антуан Про в книге, предназначенной начинающим историкам, предложил вернуться к определению оснований «ремесла» историка [12]. Арлетт Фарж в книге с

характерным названием «Вкус к архиву» предложила вновь отправиться в историческом исследовании от источника, вырвав его из «прокрустова ложа» привычных концептуальных построений [13]. Жерар Нуарьель в книге «О кризисе истории» уделит центральное место поколенческим факторам, ставкам власти, механизмам конкуренции в исторической науке, анализируя тройной аспект деятельности дисциплины – знания, памяти и власти [14. С. 191–203], и предложил собственную версию развития «прагматической перспективы», но в русле «прояснения повседневных профессиональных практик» [15. С. 191–203]. С его точки зрения, необходимо:

- перенести дискуссии с рассуждений об основании знания на другие аспекты исследования;
- развивая междисциплинарность, доказывать на языке своей науки полезность произведенных заимствований;
- разным специалистам – чаще работать над коллективными проектами;
- создавать новые общности, но при этом четко проговаривать всю последовательность необходимых действий – не только «что делать?», но и «как делать?», по возможности избегая «революционных» заявлений.

Новое прочтение в традиции «социологии науки» позитивистской историографии способствовало пересмотру доминировавшего в исторической науке негативно-го образа историков-методистов, сложившегося в традиции «Анналов». Так, Жерар Нуарьель склонен представлять развитие исторической науки, в период от Шарля Сеньобоса до Марка Блока, рождением и вызреванием новой парадигмы в истории, основанной на «критическом методе» и нормах воспроизводства в университетской среде, созданных некогда поколением «историзирующих» историков.

Самостоятельной и очень влиятельной сферой исследований, своего рода квинтэссенцией востребованной ныне политической истории, являются тесно взаимосвязанные темы исторической памяти и национальной идентичности. Их теоретическое осмысление связано, в первую очередь, с одним из самых сильных проектов современной французской историографии – многотомным изданием «Места памяти», руководимый Пьером Нора [16].

Еще в 1978 г. Нора писал об усилении интереса в обществе к проблемам исторической памяти, но подлинный «бум» мемориальных практик и «музеизации» прошлого приходится на 1980–90-е гг.: «время поиска истоков», генеалогии, год национального достоинства, мания юбилеев, одержимость желанием «сохранить все». Память превращается во влиятельную составляющую коллективных репрезентаций.

Кризис «национального французского романа», созданного Э. Лависсом, хронологически проявился в утверждении после 1968 г. «альтернативных памятей» отдельных регионов, рабочих, «устной» истории, выходя к жизни воспоминания «безымянных», забытых или репрессированных групп, не оставивших письменных свидетельств, и формируя историю, «видимую снизу». Косвенно в этой ревизии национального сознания и формирования «момента-памяти» участвовали и «Анналы», длительное время пренебрегавшие в своей программе национальными и политическими сюжетами.

Важной особенностью утверждения истории памяти стало ее превращение в важнейший компонент коллективных репрезентаций группы, которые всегда зависят от нужд и чаяний настоящего. В этом смысле любая история памяти есть история использования прошлого в связанном с ним настоящим. Данное обстоятельство и формирует цель «Мест памяти»: поставить стихийное и пристрастное использование прошлого под контроль профессиональных историков.

При широком разнообразии тем, представленных в серии, понятием-матрицей здесь является «место памяти». Проект замыслился изначально как создание перечня мест, где воплотилась национальная память, мест, вполне конкретных и вещественных, но также абстрактных и интеллектуально конструируемых, образующих совокупность символических элементов памяти сообщества. С 1984 по 1992 г. такая направленность постепенно меняется, проект можно представить уже не только как программу эмпирического исследования символических объектов, но и как принципиально иной способ писать историю, приложимый в пределе к любому историческому объекту, который Пьер Нора и Марсель Гоше называют «символической историей «во второй степени» [17. С. 24].

Эта символическая история особым образом осмысляет природу изучаемых объектов. Для Нора «Места памяти» не имеют соответствий с действительностью. Или, скорее, они сами «являются собственными референтами, знаками, которые отсылают только к себе, знаками в чистом состоянии». Франция «Мест памяти» – это прежде всего реальность символическая, так же как и май 1968 г. для Нора есть «только чисто символическая результирующая» легендарного всех революций.

Уточняя свою концепцию символического, Нора поясняет: «Место памяти предполагает стыковку двух порядков реальности: реальности осязаемой и уловимой, иногда материальной и реальности чисто символической, носительницы истории». Символическое – это не дополнительный этаж к классическим подразделениям экономики, социального и ментального, поскольку любая реальность всегда символична. Эта концепция исторического объекта выходит на историю не событий самих по себе, но на историю «постоянного использования событий и злоупотребления ими» в меняющемся настоящем, историю «во второй степени».

История «момента-памяти», с точки зрения Нора, передает и новый возраст самого исторического сознания, отражая смену режима историчности – связи социального со временем. Кризис национального мифа спровоцировал разрыв преемственности исторического времени, которое ранее выражало понятие прогресса. История «в первой степени» (позитивистская) отдавала себе отчет в этой преемственности. Ныне же единство прошлого, настоящего и будущего раскололось. Будущее стало непредсказуемым и неукротимым, «бесконечно открытым, и в то же время без перспектив».

Нора возвращается в конце «Мест памяти» к классической оппозиции между памятью, обладающей силой формировать или, напротив, деформировать идентичности, и историей, призвание которой – объективно анализировать и обобщать. Провозглашая естественность связи между памятью и идентичностью, автор предлагает представить память «в прозе истории», преодолевая кризис национальной идентичности. Формулировка Нора по этому поводу удивитель-

но назидательна: от историков требуется «адаптироваться к перестройке национального чувства, которое «диктует непреложно возвращение к национальному». Собственно, именно этот момент проекта подвергается наибольшей критике: по сути, отгалкиваясь от утратившего силу «французского национального романа», Нора предлагает продолжить его традицию сакрализации нации, при этом переоценивая степень дробности национальной памяти и игнорируя ее государственные, «республиканские» основания.

Эта трансформация национального сознания усиливается историей, одновременно констатируемая и желаемая, формулируется Нора одной фразой: переход от агрессивного национализма XIX в. к «национализму влюбленному», к «усилению нации без национализма». Нора связывает этот главный поворот коллективного сознания с экономическими, политическими и социальными изменениями в стране «второй французской революции»: потерей колониальных владений, началом экономического кризиса, утратой крестьянских и христианских традиций, которых во Франции придерживались дольше, чем в большинстве других стран, истощением старого «рабочего» мира и революционной идеи, двойным ослаблением голлизма и коммунизма, переходом от большой государственной и империалистической мощи к средней демократической.

Симптомом формирования нового национального сознания для Нора становится переход, начиная с середины 1970-х гг., от национального к «унаследованному». Эволюция юбилеев исторических дат во Франции выявляет утверждение мемориальной модели управления прошлым вместо модели исторической.

Марсель Гоше в этом отношении значительно менее оптимистичен. Он сомневается в существовании под-

линных разрывов в истории, полагая, что текущий критический момент эволюции, которые вызваны расширением объекта и источников истории [17. С. 24]. Более того, «кризис» потрясает сейчас не основы определенной профессии, но столпы западной цивилизации в целом. В своей «политической истории религиозного» Гоше выстраивает вектор становления современной демократии как процесс «выхода из религии», энтропию прежнего строя мысли, износ верований и понятий, образование нового типа скептицизма и делегитимации власти. Неумолимая логика потери сакральных оснований ведет к современному обществу рынка, где существует культ Индивида и его Прав, но нет ни одной подлинной причины для сохранения прочных коллективных связей, кроме идеологического и технократического давления «агонизирующей демократии», давно забывшей принцип правоты большинства.

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что полного единства позиций по поводу приоритетов профессии и будущего гуманитарных наук у французских историков нет. Можно диагностировать лишь большую чувствительность сообщества историков к эпистемологическим дискуссиям, но при этом – без подмены существа собственной профессии философией. Кроме того, при всем внимании к теоретическим аспектам способов исторического производства, верификации и процедур письма, сохраняется стремление к максимальной артикуляции и прозрачности как дискурсов, так и техник исследования с четким обозначением границ метода и без экспансионистских детерминистических устремлений «объяснить все», что, безусловно, является новой чертой французской историографии последнего десятилетия.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ginsbourg C.* Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l'indice // *Le Debat.* 1980. № 6.
2. *Stone L.* Retour au recit ou reflexions sur une nouvelle vieille histoire // *Le Debat.* 1980. № 4.
3. *Ricoeur P.* Temps et recit. 3 tomes. Paris / Editions du Seuil, 1983–1985.
4. *Chartier R.* L'histoire culturelle // *Revel J. et Wachtel N.* Une école pour les sciences sociales. Paris, 1996. P. 81. *Annales ESC.* 1988. № 2.
5. *Lepetit B.* (dir.) Les formes d'experience. Paris, 1995.
6. *Benatouil T.* Le critique et le pragmatique en sociologie. Quelques principes du lecture // *Annales HSS.* 1999. № 2.
7. *Lepetit B.* L'histoire prend-elle les acteurs au sérieux? // *EspacesTemp, Le temps réfléchi.* № 59–61.
8. *Revel J.* (dir.) Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'experience. Paris, 1996. P. 19.
9. *Charle Ch.* Micro-histoire sociale et macro-histoire sociale. Quelques reflexions sur les effets des changements de methode depuis quinze ans en histoire sociale. Paris, 1993.
10. *Коркюф Ф.* Новые социологии. СПб., 2002.
11. *Roche D.* Les historiens aujourd'hui. Remarques pour un débat // *Vingtième siècle. Revue d'histoire.* 1986. № 12. P. 3–20.
12. *Prost A.* Douze leçons sur l'histoire. Paris, 1996.
13. *Farge A.* Le goût de l'archive. Paris, 1989.
14. *Noiriel G.* Sur la crise de l'histoire. Paris, 1996.
15. *Nora P.* Les lieux de memoire. Paris, 1984–1992.
16. *Nora Pierre.* Comment écrire l'histoire de France, dans *Les lieux de mémoire. T. III: Les France. Vol. 1: Conflits et partages.* Paris, 1992. P. 24.
17. *Gauchet M.* L'élargissement de l'objet historique. Inquiétudes et certitudes d'histoire // *Le Débat.* 1999. № 103.

Статья представлена кафедрой истории Древнего мира, Средних веков и методологии истории исторического факультета Томского государственного университета, поступила в научную редакцию «Исторические науки» 14 ноября 2004 г.